

1184(2 Рос)6  
№ 377

5



2000

ЭРИНТУР



## Сергей ЛУЦКИЙ

*С 55-летием!*

ЛУЦКИЙ Сергей Артемович родился 31 октября 1945 года на Украине.

Учился в техникуме, служил в армии, работал на заводе. В 1975 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Виля Липатова). Около двадцати лет прослужил редактором в различных московских издательствах.

Печатался в коллективных сборниках и журналах "Крестьянка", "Мир Севера", "Октябрь", "Советский воин", "Югра", "Юность", в еженедельнике "Литературная Россия". Рассказы переводились на арабский и украинский языки. Автор сборника прозы "Десять суток, не считая дороги" (1988).

С 1994 года живет и работает в селе Большетархово Нижневартовского района.

*Сергея Луцкого я знаю давно. Мы вместе учились в Литературном институте в Москве. У каждого писателя в литературе, как и в жизни, своя тропа, своя судьба. За прошедшие два десятилетия С. Луцкий выпустил всего один сборник прозы. Но настоящая, серьезная литература требует кропотливой работы над словом и образом. Это особенно ценно в наши дни, когда значительно снизился художественный уровень издаваемых произведений...*

*Многим произведениям С. Луцкого присущи вечные мотивы, вечные жизненные ценности, удивительные детали, подчас самые неожиданные... Переезд Луцкого в Большетархово я воспринял с большой надеждой на то, что в его лице наша литературная среда приобретет профессионального, активного литератора. Он, без сомнения, внесет свой вклад в укрепление духовной основы жизни Югорского края.*

Еремей АЙПИН

## ЗАТМЕНИЕ

*Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые...*

*Ф. Тютчев*

Ничто его не берет. Сколько можно, каждое утро! А на вид дохлый и немолодой уже, к полтиннику. Это как зарядка у него.

Скотина!..

Кирюхин лежит на спине, слышит, как этажом выше, над головой, порывисто скрипит тахта, и не может подавить в себе острой неприязни, почти гадливости. Еще месяц назад этот азартный ритмичный скрип заставлял его тянуться к жене, обхватывать ее теплое сонное тело, привлекать к себе. Он сглатывал, представляя белые голые ноги соседки с четвертого этажа, напряженную спину ее мужа, этого официанта хренова, — и его рука пробиралась под Томину рубашку, ласкала, гладила, с нежной подрагивающей силой прихватывала слегка влажную грудь, скользила вниз...

Лишь бы не проснулась, думает теперь Кирюхин и потихоньку отодвигается от жены. Он слышит, как нарастают, убыстряются движения наверху...

Кирюхин осторожно поднимается и уходит на кухню.

Козел похотливый! Скотина!

Еще темно, пять часов, можно бы поспать, сегодня за машинкой во вторую смену, — не дал официант. Некоторое время Кирюхин топчется на кухне, курит, открыв форточку. На дворе весна, март, но он весеннего запаха не чувствует. Идет в ванную умываться. Как больной, думает он, глядя на себя в зеркало. Подглазья и веки набрякли, лицо лимонного оттенка. Э, друг, надо что-то делать, официант здесь ни при чем. Каждую ночь Кирюхин просыпается часа в три словно от лихорадочного шепота: как ты можешь спать! Как можешь!.. Ощущение то же, что и в Геленджике. Ужас перед тяжело ворочающейся силой — той, что под берегом и морем, под полями маслянистых водорослей с мечущимися рыбами, под степью со скифскими могильниками и затянутыми землей эллинскими городами, под нынешними селениями. Все живое, хрупкое, дышащее, гонящее соки — ничтожный сор для угрюмой безжалостной силы. Раздавит и не заметит. Кирюхин лежит в постели, пробует уснуть — не получается. Лежит до самого этого скрипа на четвертом этаже.

Он знает, что надо делать.

В мастерской — бывшей кладовке — садится к столику, вокруг полочки с инструментом, тесно, хорошо. В белом свете круга от

настольной лампы большая сильная лупа на штативе. Здесь уютно пахнет металлом, ацетоном и слегка пылью. Минуту Кирюхин сидит просто так, положив на стол расслабленные руки — лишь бы не стали дрожать! — потом достает заветную коробочку, осторожно открывает. На дне тускло светятся детальки. Кирюхин пинцетом захватывает одну, смотрит со всех сторон. Тончайшим бархатным надфилем подправляет в нескольких местах. Микрометр похож на небольшую элегантную подковку, Кирюхин проверяет размер, еще несколькими легкими движениями надфиля прикасается к заготовке. Под лупой и она, и надфиль кажутся несоразмерно крупными, а появляющийся сбоку край ногтя — циклопическим, невероятно огромным. Кирюхин задерживает дыхание, двигает надфилем с чрезвычайной осторожностью, понемногу втягиваясь в работу. И нет уже официанта, нет судорожного панического шепота, от которого он просыпается.

Еще в постели он помнит о том, что должен позвонить Нуриджанову. Тот тоже начальник отдела, но приближен к верхам, а там, по слухам, гоношат совместное предприятие. Может, и ему, Кирюхину, место найдется. Кирюхин думает о Нуриджанове с нежностью, он его почти любит, этого румяного человечка с густыми бровями, деликатного и умницу. Нуриджанов сказал сегодня позвонить, должно что-то проясниться. Кирюхин волнуется, думая об этом. Так он волновался всего несколько раз: когда в седьмом классе впервые поцеловался, когда защищал кандидатскую и еще раз или два. Однако, звонить рано, Нуриджанов наверняка спит. Вот сходит за молоком, тогда.

С приятными мыслями о Нуриджанове он одевается и выходит из дому. Улыбка теплится на его нездоровом лице. Совсем некстати вспоминает о Розиной просьбе. Вообще-то надо зайти, все-таки они с Юрой приятели, почти друзья, насколько такое возможно в сорок лет. Не хочется. Это опять Розины насмешливые взгляды, недомолвки и едва замаскированные шпильки. О женщины, ничтожество вам имя! А в общем-то сам виноват, черт дернул, и перед Юрой свиньей себя чувствуешь. Дробится под ногами застывшая за ночь мартовская слякоть, и этот хруст сначала гулко раздается среди молчаливых многоэтажек с ярусами черных окон, потом звуку становится просторно, он не прыгает, не бьется в стены, а успокоенно стелется над дорогой — это Кирюхин выходит к Ильинке, поселку с вольно стоящими приземистыми домами. На темных деревьях хрипло пробуют голоса невидимые вороны.

Глупо, думает Кирюхин. На молоке сэкономим, а сапоги на такой дороге рвутся. Вспоминать о том, что купить новые теперь не

получится, а эти сапоги у него единственные, Кирюхину не хочется, потому что сразу охватят тоска и безысходность.

Он старается не думать ни о чем.

Шагает, слышит хруст под ногами, разрастающийся вороний грай, дышит холодным воздухом. Вот так, больше ничего. Какого черта, пробует он себя приободрить, нельзя быть таким малодушным! Руки есть, голова на плечах — вывернемся!

До открытия магазина почти два часа, но еще от железнодорожных путей он видит черный сгусток очереди у двери. Очередь поутреннему неразговорчива и малоподвижна. Кирюхин спрашивает крайнего и молча стоит вместе со всеми, ждет, чувствуя, как понемногу начинают мерзнуть ноги, как все больше холодит взмокшую от ходьбы спину. Скорее бы восемь, тогда впустят в магазин, там тепло. Резко покрикивают, притормаживая перед платформой, электрички — в Город и из Города, — тянутся низки освещенных вагонов, густыми красными пучками искрят внизу тормозные колодки. Если присмотреться, можно различить за окнами редких, в этот час дремлющих людей, все как обычно, мирно и скучновато, обыденно, и Кирюхин смутно удивляется. Словно ничего не происходит.

Они что, не понимают, куда все идет?!

Светает понемногу. Будто в проявителе проступают бревна в стене магазина. Резче очерчиваются штакетины невысокого заборчика. Явственнее лица стоящих в очереди. В основном это пенсионеры, но есть и молодые. А очередь не такая уж молчаливая. Старушка впереди вполголоса жалуется другой на сантехника Вовку, с которым без бутылки и разговаривать нечего, а попробуй эту бутылку купи, а сосед заливает каждую неделю, и ничего не скажи, грозит побить, вот такой сосед. Старушка понуро качает головой, ее знакомая сочувственно поддакивает.

— За кого голосовала, бабушка? — спрашивает женщина в хорошем зимнем пальто с норковым воротником. В голосе ее насмешка.

Старушка сразу тушует. По привычке она начинает оправдываться, по привычке же лукавит:

— А кто написан был, за того... Чего я там понимаю? Все голосуют, и я... Нам-то чего, все равно жизнь плохая...

— Не говори зря, не такая уж плохая была! — начальнически срезает женщина в добротном пальто. На вид ей лет пятьдесят, губы подкрашены, лицо породистое, с крупными чертами — она, похоже не местная, не ильинская, а пришла, как и Кирюхин, за дешевым молоком, хотя и обращается к старухе на “ты”.

— Я разве чего... — бормочет старуха и почему-то оглядывается. — Как люди, так и я...

Женщина не слушает:

— Раньше ты пошла бы в райком или в газету написала, твоему бы Вовке вместе с соседом быстро хвост прижали. Правду говорю? Разве не так было? — Она произносит это громко, уверенно, чувствуется, что разговаривать с такими людьми она умеет. Очередь начинает прислушиваться. — А сейчас что? И придушит тебя сосед, я верю, например. Кому ты нужна? Милиции не до тебя, она с мафией разобраться не может, телевизор смотришь, должна знать. Партию разогнали. Нет сейчас власти, человек никому не нужен.

— А чего эта партия хорошего сделала? Чего?! Сколько народу уничтожила, вы знаете? — вступает в разговор худенькая женщина пенсионного возраста. Ее простоватое лицо измождено, но черные глаза смотрят горячо, истово. — На народной шее большевики сидели, а сам народ уничтожали в гуглаге, вы только подумайте! Партократы проклятые! Я сорок два года на производстве, а что видела? До чего страну довели, а сами валютные счета за границей открывали и хоромы себе строили!.. — От возмущения у худенькой перехватывает горло, несколько мгновений она молчит. — Сейчас трудно, согласна. Но это временно, президент сказал, до осени. Посмотрите, как за границей люди живут. И мы так давно жили бы, если б не большевики проклятые!..

— Это вы не надо, не надо! Бросьте все на партию валить, наши козла отпущения!..

— Да как же не надо! Виноваты кругом, чего защищаете!

— Бросьте! Поначитались газет. Ельцин вам еще покажет!..

Женщины принимаются спорить, каждая отстаивает свое. Кирюхин слушает их, но вмешиваться в разговор ему не хочется. К чему? Выпускают люди пар, ничего от слов не изменится. Вообще ни от него, ни от этих женщин ничего не зависит. Все мы пыль на ветру. Где он это слышал?

— Ах, милые мои, как легко нас очаровать, — раздается ласковый голос за спиной. — Только поговори с нами по-человечески, посочувствуй бедам, пообещай поступать порядочно, когда у власти будешь... До чего же народ у нас хороший!

Тон для очереди необычный, Кирюхин оглядывается. Говорит мужчина с сухим ироничным лицом. В отличие от большинства пенсионеров он хорошо выбрит, одет в просторную куртку с незавидным брезентовым верхом, зато на настоящем меху — в разрезе ворота диковато торчит длинная темная шерсть. В такой и сорокоградусный мороз не страшен. Сам Кирюхин уже изрядно продрог, он топчется, постукивая ногой об ногу, мужчина ему неприятен своей уверенностью, теплой курткой, снисходительным выражением лица.

— Мы всему верим, что нам ни пообещают. Коммунизм обещали — верили! Сейчас другое светлое будущее обещают, опять верим! Надо потерпеть? Терпим. Мы, понимаете, очень вождей своих любим. Если прозреваем, так после их смерти. Все разом. Иначе никак у нас не выходит, вот такие мы!..

Все смолкают. Только что спорившие женщины смотрят настороженно — куда гнет, за кого?

— Был такой хороший поэт в период застоя, как сейчас говорят. Умер уже. Так вот он написал. Все, даже чих, звучащий выше, простак с заглавной буквы пишет. В делах и праведных, и ложных лишь он опора на века. Без многих умников жить можно, а проживи без простака!.. — Мужчина тонко, желчно улыбается, щурит глаза. После паузы замечает необязательным тоном: — Ну да ладно, сколько уж об этом, скучно... Пойду-ка газет куплю. Киоск на платформе открылся, похоже.

Он отходит, мягко ступая удобными теплыми бурками — как только сохранились. Философ, думает Кирюхин. Детей вырастил, можно книги читать, витать мыслями и анализировать — на хлеб пенсии хватит. Какое-то время очередь молчит, потом раздаются слова:

— Еврей, наверно...

Очередь не возражает. Кирюхин усмехается.

Из магазина он возвращается в приподнятом настроении. Вся эта нервотрепка — привезут молоко или нет, сколько фляг, достанется ли ему; к тому же продавщица может просто не дать, всех своих, поселковых, она знает, а он пришлый, — все эти переживания заканчиваются благополучно, молоко он купил, оба трехлитровых бидончика, это удача. Три литра пойдут на каши, Антон и Верочка любят, из трех других сделаем творог. Хорошо будет утром к чаю — на хлеб вместо масла.

Теперь можно зайти и к Ванеевым, это по дороге. Еще издали Кирюхин высматривает возле подъезда Розу, гуляющую с Ампиrom, но не видно — должно быть, вернулись домой. Как его Ампиr не покусал, уму непостижимо. Большой черный дог с внимательными человеческими глазами. Они с Розой запирались в комнате, а пес вполне индифферентно дремал на коврике. Что с сорокалетними бабами происходит — женский вариант седины в бороду? Кирюхину она говорила, что с мужем себе такого не позволяет. Да уж...

На мгновение появляется лукавая верткая мыслишка, бесенок поощрительно подмигивает, провокатор, высовывает быстрый красный язычок, но сам по себе тускнеет, вянет, скоренько пропадает.

Если разобраться, суетливое и мелкое занятие. Недостойное. Даже постыдное. Кирюхина смущает лишь одно — не слишком ли рано? А как же мужики, которые в шестьдесят детей рожают? Как официант с четвертого этажа?..

Дверь открывает Роза. Взгляд у нее странный. Кирюхин преувеличенно неуклюже топчется в прихожей, шумно раздевается, бодрым голосом несет шутливую ахинею, приличествующую между добрыми знакомыми, которые давно дружат домами. Ему кажется, всем этим он создает дистанцию между собой и Розой, никакого интима, но Роза верна себе, предупреждающе роняет вполголоса:

— Юра дома. — И после паузы, громче: — Опоздал.

О женщины!.. Кирюхин проходит в комнату, приглаживает волосы и видит Юру, который суетливыми быстрыми движениями протирает мебель от пыли. Юра снует по комнате, он в рубашке распоясской, ни на секунду не останавливается, едва замечает Кирюхина. Мимоходом, как-то вскользь сует ему руку и тут же вырывает ее. Ведет себя Юра непривычно, странно, похоже, внутри у него бешено вращается моторчик, который заставляет без конца торопиться, судорожно двигаться. Кирюхин оглядывается на Розу. Роза отвечает красноречивым взглядом.

— Где ваш зверь? А, ребята? Что-то не вижу. — Кирюхин пробует рассеять висящую в воздухе напряженность, исправить ненормальность происходящего. Спрашивает он бодро, со смешком, подбрасывает и ловит в воздухе безделушку с телевизора.

Роза начинает шмыгать носом, Юра с хмурой деловитостью роняет:

— Он много ест, мы его не потянем. Вчера отвел усыпил. Надо принимать меры. Иначе погибнем, все.

Кирюхин не знает, что сказать. Так вот почему Роза зазывала его, ну и мудака же!.. Он старается не смотреть на Розу, а та уже явно всхлипывает. Кирюхин принимается говорить. Все не так уж плохо, ребята, есть точные сведения, что в мае институт получит крупный заказ от китайцев — ты, Юра, знаешь, — отдел отзовут из административного, дадут хорошие оклады, надо только пережить это время, все будет хорошо. Ну, ребята, уж Ельцину-то мы можем верить, а он четко обещал, все наладится. Юра, так же судорожно двигаясь с тряпкой, кивает, не поворачивая головы, соглашается, но Кирюхин понимает, что слова его звучат легковесно, несерьезно. Орехи с высохшей сердцевиной, скорлупа пустого яйца. Весь институт с начала года тешит себя такими слухами.

— А в случае чего, место на упаковке машинок без проблем, ребята! Концерн нуждается в крепких мужских руках. Какие наши годы, парни, выше голову!..

Наигрыш так очевиден, прет в глаза, коробит самого Кирюхина, но он продолжает в том же духе. Здесь благодарны и за это. Роза зовет на кухню пить чай, по пути показывает антресоли, доверху забитые пачками стирального порошка.

— Боится, что завшиведем. Снял с книжки последние деньги и купил. — Роза неуверенно улыбается, она не знает, смеяться или опять плакать. Юра стоит рядом, а она говорит так, словно речь о ком-то отсутствующем. — Валя, ну хоть ты посоветуй. Может, к психиатру его сводить? Ненормально же это, сам видишь!..

Юра молчит, будто разговор не о нем. Он весь в себе, по закаменевшему скуластому лицу с усами под Руцкого видно, каких усилий стоит ему не двигаться.

Через несколько минут Кирюхин и Роза во дворе. Пить чай он отказался — сейчас сахара не достанешь, зачем создавать людям проблемы, от себя отрывают. Роза идет к остановке, ей в школу к третьему уроку. Кирюхин провожает.

— А я ничего не замечал, — говорит он, глядя под ноги. — Юра, вроде, как обычно — в автобусе каждый день вместе...

— Мне страшно, Валя, ты не представляешь! Реланиум ему уже плохо помогает, перед работой по пять штук принимает. Вдруг что взбредет в голову, ведь никаких гарантий, никаких! Вот и с Ампиром... — Роза замолкает, всхлипывает, ищет в сумочке платочек, осторожно промакивает слегка подкрашенные глаза.

Пса в самом деле жалко. Здоровенный, красивый. Не любил, когда при нем рвали бумагу — внимательные человеческие глаза делались яростными, четко проступающие под гладкой черной шерстью мышцы мелко дрожали от напряжения — вот-вот кинется. Еще не пускал Розу в туалет, считал, что она должна все делать вместе с ним во дворе. Ситуация неподходящая, но Кирюхин не может сдержать улыбки.

— Если бы кто знал, как мне одиноко. Если б кто знал!.. — Роза поднимает глаза, смотрит на Кирюхина прямым откровенным взглядом. — Валя, я от него уйду, честное слово! Опасно с таким, я еще жить хочу. Валь?

Кирюхин чувствует, как у него стягивает кожу на лице, как всего заполняет тяжелая неожиданная злоба.

— Я тебе уйду! — обещает он сквозь зубы. — Я тебе уйду!..

Роза, дико взглянув на него, отстраняется. Так, молча, отчужденно, они проделывают путь до автобусной остановки.

Насколько он виноват, что изменилось бы, если б тогда, после дня рождения, не полез к ней? Юра с Ампиром пошел разводить по домам гостей, а Кирюхин, чего уж там, едва держался на но-

гах, его оставили ночевать. Перестань, сердито шептала Роза, шлепая по рукам, ты что, с ума сошел?

Скотство, гадость, вспоминать тошно, но было. Или не в нем дело — это с Розой все равно случилось бы, если была в общем-то готова? Дело за случаем, за соблазном? Ведь уступила, хотя он не слишком настаивал, ума хватило, все как бы в шутку.

Ладно.

Тополя как обнаженная арматура, скелеты с объединенной плотью. Кричат вороны, подаваясь от натуги вперед и приседая, раскачивая тонкие ветки. Некоторые снимаются, летят за многоэтажки, неторопливо поводя по сторонам крупными носатыми башками. Вид у них такой, будто они что-то знают. Что?..

Если уж дал такой крюк, надо зайти в коммерческий. Интересно, почем сейчас машинки. Хорошо знать заранее, куда свою сдавать — здесь или в Городе лучше. Стальные двери комка “У Ларисы” — бывший стол заказов для ветеранов, — единственное окно забрано решеткой в виде расходящихся лучей. Самому дверь не открыть, в руках у Кирюхина по бидончику с молоком, надо ждать, когда кто-нибудь появится. Долго никого нет, но Кирюхин не торопится, отходит от разговора с Розой. Наконец, стальная дверь гремит и показывается какая-то женщина. Кирюхин, осторожно держа бидончики в приподнятых руках, боком проскакивает внутрь.

Все эти комки — ларьки, отделы и целые магазинчики, расплодившиеся в последнее время, он не любит, цены в них вызывают острое чувство неполноценности. Но сейчас ощущение другое. Кирюхину хочется, чтобы машинки стоили как можно дороже, пусть цены будут дикие, несусветные — чем выше, тем лучше. Тогда его тупой труд в концерне, час туда в автобусе и час обратно будут что-нибудь значить. Появится вареная колбаса к завтраку, можно будет покупать масло и белый хлеб.

В магазинчике почти никого, хорошо одетая молодая продавщица смотрит по цветному телевизору бесконечный сериал о плачущих богатых, в стороне рослый парень в кожаной куртке разговаривает с ее подругой, слышен сдержанный смешок, тон разговора странный: одновременно игривый и деловой.

Кирюхин ищет глазами на полках швейные машинки, слышит обрывки фраз: полторы штуки в баксах... ну что ты, Европа, не обижают... Брось, самой интересно, как там у немецких мужиков... наших в Германии любят, спасибо Горбачеву...

Сначала Кирюхин подумал, что парень в богатой кожаной куртке охранник — сейчас они в каждой коммерческой лавке, но голос с низкими доверительными модуляциями кажется ему знакомым, и Кирюхин становится так, чтобы увидеть лицо парня.

Все верно, Гена Ратников. Знаменит тем, что как-то в компании заявил, что он находка для любой женщины. С тех пор его в институте прозвали Находкой.

— Привет, — здоровается Кирюхин и с отвращением слышит подобострастие в своем голосе. Полгода, как Гена уволился из института, говорят, ударился в коммерцию, ездит в Польшу, Турцию и, по слухам, дела у него идут неплохо. Похоже, что так — одна куртка на нем стоит многие тысячи.

— Здравствуйте. — Гена узнает Кирюхина не сразу. Наконец протягивает руку. — Здравствуйте, Валентин Семенович.

Кирюхин суетливо ищет, куда бы поставить бидончик, пожимает Генину руку.

— Товар сдаешь?

— Да как сказать... — Гена с улыбкой смотрит на симпатичную продавщицу, та дергает плечом, улыбается тоже и скользит глазами в сторону. Улыбка у нее высокомерная и неловкая сразу, будто их застали за чем-то нехорошим. — Ну ладно, Валюшка, ты подумай. Игра стоит свеч. И смотри на это как на работу, понимаешь? — И уже Кирюхину: — Вы домой, Валентин Семенович? Подвезти?

У Гены белая “Вольво”, в таких Кирюхин еще не ездил. Ход у машины плавный, беззвучный, за всю дорогу молоко ни разу не плеснуло. На все вопросы Гена отвечает с готовностью, но немногословно, будто что-то недоговаривает. Да, ездит за границу, покупает здесь, продает там. И наоборот. Сейчас этому не препятствуют, был бы начальный капитал и желание. Но есть бизнес посolidнее. Надо только проявить инициативу, занять нишу, пока свободна. Как кошмар вспоминает работу в институте — каждый день от звонка до звонка, за копейки. Сейчас его никакой силой назад не затащить. Ваш этот подъезд? Неудобно “рафик” встал, но ничего развернемся...

Кирюхин выбирается из “Вольво”, благодарит Гену. Мелькает сумасшедшая мысль: может, попроситься к нему в помощники?.. Не возьмет, только унижаться. Интересно, о каком бизнесе говорит? Вообще-то, Кирюхин догадывается, но почему же ни тени неловкости в Генином голосе, ведь нормальный же парень. Чем-то в комитете комсомола занимался?

Господи, каким все оказалось непрочным, неглубоким! Даже мысли не могло прийти, что все так легко рассыпется. Почему? Или наоборот, это естественней, а что было раньше — вымучено и все время требовало усилий, чтобы оставаться, существовать? Но какое же подлое мурло у этого естественного! Какое сволочное! Оцепенение и ужас!

Пролеты лестницы чутки к любому звуку, и еще у почтовых ящиков Кирюхин слышит сопение, прерывистые сдавленные голоса сверху. На свой этаж Кирюхин идет пешком — лифт опять не работает — и на одной из площадок видит передыхающих возле огромного двухкамерного холодильника Официанта и еще какого-то мужика, наверно, шофера “рафика”, который стоит внизу. Взгляд у Официанта быстрый, оценивающий, неуверенный, и Кирюхин догадывается: тот не знает, просить или нет, чтобы помог — они всего лишь здороваются, никогда не останавливались, не разговаривали. Секунду Кирюхин колеблется, но потом все же ставит в безопасный угол бидончики.

— Помочь?

— Помоги, сосед! Запарился с этой бандурой, ну ее!.. — Официант хозяйственно суетлив, он ухватывается тонкокостными белыми пальцами за брусок упаковки, дает рядом место Кирюхину, и втроем они тащат неудобную тушу холодильника с этажа на этаж.

Кирюхин быстро сдает — сказывается, что мало спит, — уже после первого лестничного марша он мокрый, но шершавого занозистого бруска из рук не выпускает. Толкаясь, тяжело дыша, они наконец заносят холодильник в квартиру.

— Сюда... на лоджу... — Официант пятится впереди, открывая задом дверь из прихожей в комнату, и Кирюхин с приглушенным усталостью любопытством косит глазом на тахту. И в самом деле, прямо над их с Томой постелью. Ежеутренние битвы под знаменами Венеры, черт бы его побрал! И ведь не скажешь, чтобы передвинули — не по-мужски и себя выдашь. Да и какое у него право распоряжаться где и что должно стоять в чужой квартире.

— Выпить, мужики, не предлагаю, — говорит, едва отдышавшись, Официант. И довольно, сметливо смотрит то на шофера, то на Кирюхина. — А вот сувениры примите. Хорошие сувениры, отвечаю! — Он вытаскивает из джинсов бумажник, двумя ловкими пальцами вылавливает по зеленой бумажке. Передавая одну Кирюхину, поощрительно улыбается. — Кандидат наук сегодня на меня работал, то еще событие!.. Заходи, сосед, если что. За мной не пропадет.

Только дома Кирюхин рассматривает бумажку. На ней человек в буклях и надпись “one dollar”.

Кирюхин до хруста в пальцах сжимает купюру. Какое-то время стоит неподвижно.

Это удивительная вещь — метаморфозы, которые происходят в его сознании с Нуриджановым. Раньше Нуриджанов был просто

коллегой — умным, доброжелательным, осторожным, а сейчас Кирюхину важно знать, как Нуриджанов поднимается по утрам, о чем говорит с семьей за завтраком, какие сигареты курит, как шнурует в прихожей ботинки. Всякая мелочь стала значимой и весомой, приобретает сокровенный смысл, словно Нуриджанов не такой же начальник отдела, как сам Кирюхин, а президент Соединенных Штатов, самое малое.

Кирюхин чувствует, что все больше и больше любит Нуриджанова. В детстве он так относился к взрослым людям — сильным и могущим все. Кирюхин готов сбегать для Нуриджанова за сигаретами, если понадобится. Что сигареты, надо будет — почистит туфли, выгуляет их собаку. И не будет считать это унижением, а знаком доверия и ответной любви.

Он волнуется, набирая номер. Представляет, как в квартире Нуриджановых звонит телефон, как смугло-румяный, со сросшимися бровями хозяин подходит к аппарату — возможно, он брился, одна щека в пене, через плечо переброшено полотенце, — и эти обыденные подробности заставляют сердце Кирюхина сжиматься от нежности.

— Здравствуй, Сергей Завенович. Кирюхин.

Нет, не Нуриджанов, поторопился. Голос похож, но не тот, слишком правильный, без намека на акцент, как порой бывает у интеллигентных армян. Ответивший голос вполне здешний, акающий.

Сын.

— Отец где? Мы с ним договаривались созвониться.

— Его нет, он ушел.

— Так рано?.. — Кирюхин медлит. Хотя, в общем-то, почему рано, уже часов десять, просто не ожидал. — А когда будет, не сказал?

— Нет, ничего не говорил. — Выжидательное молчание на другом конце провода.

— Ну ладно. Если увидишь, передай, я еще позвоню. Или пусть сам позвонит, я до часа дома.

Кирюхин кладет трубку. Он немного раздосадован, оскомное ощущение неудачи. Не то чтобы разочарование в Нуриджанове, но тот начинает ему казаться не таким уж необыкновенным человеком. Кирюхину понятны происходящие с ним метаморфозы, он сам себе неприятен, но нельзя дать этому гадливому чувству разрастаться, нельзя! Спокойно, вдох-выдох. Слишком многое от его выдержки теперь зависит.

В мастерскую. В уют лампы, запах металла, тихое свечение деталей. Все нормально. Все так. Спокойно.

Иногда он пробует понять, почему его так влечет к этому бесполезному, можно сказать, никчемному делу — микро моделированию. Отчего нравится мир маленьких вещей, которые, как настоящие, двигаются, ползают, едва слышно тоненько жужжат. В институте считают, что у него золотые руки, мог бы подрабатывать ремонтом часов, тех же швейных машинок или электробритв. А то и начать свое дело, сейчас это запросто, открыть мастерскую — по крайней мере, все было бы на совесть, с гарантией, не то что у этих обормотов из рембыттехники, они умеют только деньги драть. Кирюхин слушает такие речи и улыбается. И не спешит расклеивать на остановках объявления с предложением услуг, хотя деньги семье очень нужны.

Может, это из детства, когда ему особенно нравились щенята, лилипуты в цирке, только что опушившиеся и умещающиеся на ладони крольчата в сарае у липецкого деда — все настоящее, маленькое, славное, уютный понятный мир. Ребята на катушке изпод ниток нарезали зубчики, вставляли в отверстие двойную резинку, закрепляли с одной стороны обломками спички, с другой небольшой палочкой или огрызком карандаша — получался маленький трактор. Или вездеход, кому что нравится. Надо лишь завести его, то есть накрутить резинку, опустить, придерживая, на пол, и он полз вперед, а иногда, к восторгу маленького Кирюхина, даже пробуксовывал. Совсем как всамделишный. Валя мечтал раздобыть особые зернышки пшеницы, вспахать трактором из катушки поле у липецкого деда на огороде, засеять, и чтобы пшеница выросла обязательно небольшая, с иголку высотой, но с настоящими маленькими колосками...

Взрывается телефон. Кирюхин вздрагивает от неожиданности. С сожалением откладывает полусобранную модель МиГа-29, трет уставшие глаза и думает, что нервы ни к черту. В его душе ничто не шевельнулось, никакого предчувствия. Идет в прихожую, спокойно берет трубку.

— Пап, ты только не волнуйся, — голос у Антона приглушенный, виноватый. Он замолкает.

Кирюхин все еще спокоен, разве что слегка настораживается.

— Что такое?

— Не знаю, как сказать...

— Говори, как есть, не кокетничай.

— Маме ничего не говори, ладно?

— Хватит торговаться, Ботанищев. Я занят. Что у тебя?

— Понимаешь, я в больнице сейчас. — Чувствуется, сын подбирает слова, и Кирюхин задерживает дыхание, в комок сжимается внизу мошонка. — Царапнулся я, короче. Так, ерунда, ты не

волнуйся. Пару дней придется здесь проваляться. Короче, все нормально.

Кирюхин звереет:

— Оставь это быдловское “короче”! Как поцарапался?! Не пудри мне мозги! Ты в каком отделении? — Он кричит, в нем ничего не осталось, только страх и злоба. — Говори!

— Папа, спокойно, — слышит он серьезный, уже без деланной развязности голос Антона. — Я специально тебе звоню, а не маме... Пожалуйста.

Кирюхину делается неловко. Разорался, как баба. Все чаще он замечает за сыном этот снисходительный тон — нет, не обидный, а как бы покровительственный, родственный, словно старше не он, а Антон.

— Я сейчас приеду, — говорит он сухо. — Какая палата?

— Шестой этаж... Шестая.

— Хорошо.

Так, шестой этаж. Это хирургия. Спокойно. Раз сумел подойти к телефону, не так уж все плохо. Поцарапался... Кто мог? За что?.. Сейчас ни за что могут! Ладно, без паники. Где шапка? Где, твою мать, шапка?! Так, шарф, куртка... Антошка родился семимесячным, старшеньким, у него сердце сжималось, когда он укладывал сына на руку, почти весь в ладони, опускал в ванночку с водой, подкрашенной марганцовкой, осторожно, чтобы не испугать, поливал на животик, на подпревающий пашок, на худенькие ножки. И какая-то сволочь ударила его ребенка ножом — задавлю, голыми руками задавлю!..

Лестница, подъезд, салон автобуса, ненужные люди, на всем метка несчастья и тревоги. В холле больницы почти никого, краснолицая пенсионерка в белом халате пропускает его к лифту.

В палате он видит Антона сразу же. Бледноват, но ничего, спокоен. На голой груди толстый марлевый тампон, схваченный по бокам лейкопластырем. Капельницы рядом нет. Это хорошо.

— Значит, сачкуешь. — Кирюхин изображает улыбку. Он ищет глазами стул, задевает его ножкой кровать и замечает, как боль меняет лицо сына. — Все на лекциях, а ты здесь отлеживаешься. Скверно, брат Ботанищев!

Сын тоже улыбается, но улыбка вымученная, видно, что ему все еще больно от нечаянного удара по кровати.

— Отлежусь. Все нормально, пап.

— Ножом? — спрашивает Кирюхин и напряженно подается вперед.

— Наверно. — Сын отводит глаза, и Кирюхин готов взорваться: Антон всегда был скрытен, добиться от него прямого ответа

тяжело было даже в детстве. Почти ни на что не надеясь, он все же спрашивает:

— Кто? Знаешь?

Антон молчит.

— Ты должен понимать, — как можно спокойней говорит Кирюхин, — я эту сволочь все равно найду. Найду!.. И милиция будет брать с тебя показания. Уже приходили?

— Пока нет.

— Придут! Так что говори.

Антон осторожно, как бы невзначай смотрит по сторонам (в палате лежат еще трое человек, Кирюхин их сейчас не воспринимает), и хотя говорят они и так вполголоса, Антон просит отца нагнуться.

— Ну?

— Папа, не надо! Хуже будет! — шепчет он.

— Ты что говоришь! — так же, лихорадочным шепотом возмущается Кирюхин. Он чувствует, что сын ему в эту минуту особенно близок и родственен, и сердце рвется на части от жалости и любви к нему. — Ты что говоришь! Куда хуже?!

— Хуже будет, папа, — убежденно повторяет Антон. — Я знаю.

Кирюхин выпрямляется, внимательно и отчужденно смотрит на сына. Опять этот снисходительно-сожалеющий тон, будто Антон знает то, чего он, отец, еще не понял

— Не Сицилия же у нас в конце концов!..

Антон ничего не отвечает, он опять спокоен, толстые мальчишечьи губы, обычно красные, сочные, теперь с заметным сиреневым оттенком — от потери крови, должно быть.

— Из-за твоей коммерции? — напрямик спрашивает Кирюхин.

Сын опять уклончив, будто не он только что горячо, искренне шептал ему на ухо.

— Возможно.

Кирюхин громко вздыхает, со сдержанным осуждением поводит головой. Сейчас от Антона ничего не добьешься. Ладно, не время и не место. Потом.

Он находит врача, делавшего операцию. Невысокий крепыш лет тридцати — этакий гриб-боровик с густой и короткой хэмингуэвской бородой. Пациент поступил в десять часов, ножевое ранение в верхнюю часть левой половины грудной клетки, состояние средней тяжести. Удар, по счастью, пришелся на ключичную кость, нож скользнул, глубина раны шесть сантиметров, жизненно важные органы не задеты. Да, шесть сантиметров — это немного, все могло быть значительно хуже. Нет, дежурить не нужно, есть можно все. Не за что, нам за это деньги платят. До свиданья.

Кирюхин выходит из больницы и чувствует, что нужно сесть. Как когда-то в Геленджике, он ощущает зыбкость земли, беспощадные глубинные сдвиги коры, для которых ни он, ни пронзительно родные люди, ни эти черные мартовские деревья, ни дома, среди которых он вырос, ничего не значат. Инфузории со своими ничтожными жизнями. Несомая ветром пыль. Кирюхин находит лавочку в больничном сквере, торопливо опускается, закуривает прыгающими пальцами. В десять часов. А он ничего не почувствовал. Погодите, скоты, я вас достану! Я вас достану, ублюдки!.. Парню девятнадцать, и кроссовки новые хочется, и пуховик, и слаксы. Девчонкам пыль в глаза пустить — закурить “Мальборо”, небрежно вытащить из сумки бутылку импортного шампанского с золотой, обернутой фольгой головкой. А институт отца второй год трясет, зарплаты едва хватает на самое необходимое, с нового года всех вообще отправили в административный отпуск. Об Антоновой стипендии говорить смешно. Еще летом стал приторговывать. Кирюхин с интересом смотрел на сына. Домашний тихий мальчишка, предприимчивости за ним не замечалось, а вот, пожалуй, выходил по вечерам к гастроному, предлагал идущим с работы молоко и кефир — специально ездил за ними в Город, там они даже дешевле, чем на Ильинке. И не стеснялся.

Ладно. Хорошо.

Как с Томой быть? Кирюхин поднимается с лавки, переходит улицу, направляется к Дому пионеров, там работает жена. Стоит ли теперь говорить? Последние несколько недель он только и слышит от Томи взвинченные монологи о хватких ребятах из мэрии. Несколько этажей в доставшемся им здании горкома эти шустрые ребята сдают коммерческим структурам, а сами понемногу прибирают к рукам площади беззащитных контор. Дом пионеров хотят занять под гуманитарную помощь. Похоже, собрались ею всю жизнь кормиться. Тома уже и в газеты писала, и в центральный совет детских организаций ездила, и к городскому прокурору ходила. Из газет просто не отвечают, все остальные только сочувствуют и разводят руками. Демократия, власть на местах. Такая сейчас установка. Тома дергается, смотрит на него ранеными глазами, а чем он может помочь? И это постоянное чувство вины перед ней, хотя она ничего не говорит... Нет, к Томе сейчас нельзя. Узнает, но позже. Надо подготовить. Позвонить тете Груше? Та сможет что-нибудь сварить и посидит сегодня с Антоном. Лучше зайти, такое не по телефону.

Возле гастронома, известного тем, что когда-то он снабжался из Города, по первой категории, несколько рядов дощатых стоек — здесь небольшой рынок. Парниковая зелень, картошка из де-

ревенского погреба, восково-белые вилки капусты, парное мясо — говядина и свинина. За стойками мужики и бабы с крепкими, си-зыми от стояния на холоде лицами, в дешевых болоньевых куртках.

То ли Кирюхину кажется, то ли так на самом деле, но мужики и бабы выглядят основательнее, уверенней, голоса у них смелее и громче, чем несколько лет назад. Довольство независимых людей видится Кирюхину в их лицах и позах. Они не церемонятся с покупателями, цену называют без смущения и пожимают плечами: “Дорого, так не бери! Машина навоза, знаешь, почему сейчас? А штаны купить?.. Зайди в магазин, глянь”.

Когда Кирюхин видит не только деревенских, но и обычных работяг с завода или стройки, он ловит себя на том, что завидует им. Как уверенно эти люди себя чувствуют. Не только теперь — вообще. Никогда не перестанут класть дома или обрабатывать металл, пусть даже в кустарных мастерских, если уж до этого дойдет. Они в любом случае выживут. И не надо работягам заглядывать в рот начальству, соизмерять свои слова и поступки с его мнением — токарь или шофер всегда найдет себе место. Это только разговоры насчет безработицы и закрывающихся заводов. Разгоняют конторы и институты.

Мысль идет дальше, и Кирюхину становится нехорошо: как он повязан цивилизацией! Как уязвим! Он был рад до чертиков, когда отец познакомился в доме отдыха с женщиной и уехал на Алтай — вся квартира, пусть и двухкомнатная, осталась его кагалу. Но отключи в этой квартире газ, электричество или хотя бы воду — как жить?! Простой печки нет, чтобы наломать во дворе веток и сварить суп. Костер посреди кухни?.. Да и надолго ли этих веток хватит, ведь сбежится народ со всех домов, вырвет во дворе деревья с корнями. А за водой — с ведрами на Пехорку?..

Кирюхин никак не может избавиться от мысли, что в какой-то момент жизни его здорово надули, бесчеловечно обманули, подло подставили.

Скоты, думает Кирюхин. Скоты!

Один из торгующих — мужичок в грубошерстной, из нутрии, шапке и свалывшемся полушубке с искусственным мехом — кажется Кирюхину знакомым. Вроде бы не до того, все мысли там, в больнице, с Антоном, но Кирюхин, как и утром в комке, когда встретил Гену-Находку, приостанавливается, внимательно смотрит на мужичка. Делает вид, что закуривает. Мужичок сначала подбирается, принимая его за покупателя, готов уже заговорить, расхваливать товар, но, задержав на Кирюхине взгляд чуть дольше, поспешно его отводит. Принимается равнодушно переключать перед собой широкие, тяжело гнущиеся красно-белые пла-

стины свинины. И это убеждает Кирюхина окончательно, что он не ошибся.

(Детское воспоминание: свадьба в избе липецкого деда, пьяные громкоголосые люди, нестройно играет баян, воздух синий от дыма, а в торце длинного стола сидит худой парень. Парень в костюме и в белой, застегнутой на все пуговицы рубашке без галстука, вид у него то ли испуганный, то ли стесняющийся. Рядом с парнем — невеста с толстым лицом и в удивительно не идущей этому грубому лицу фате. “Федька! Смотри мне!..” — кричит пьяненький липецкий дед и трясет кулаком перед собой. Он говорит уличные слова и показывает пальцем на невесту, гости хохочут, невеста тоже прыскает, но положение обязывает, и она опускает свое большое лицо, стыдливо прикрывается краем фаты. Жених — с мелкими чертами лица и острым носом — конфузится, подается в сторону от невесты. “Иди к ребятам, погуляй”, — говорит мама и выпроваживает маленького Кирюхина из-за стола. Она тоже оживлена, чувствуется, что происходящее ей по душе, здесь она своя, и Валя удивляется и недоумекает — его самого эти крики, эти пьяные люди, их грубые слова пугают.)

Маминого брата Федора он видел еще раз. Тогда Кирюхин уже учился в институте, и на Новый год Федор привез своих двойняшек. Мама взяла им билеты на елку в ДК. Молчаливые деревенские девочки, забывавшие сливать воду в туалете, они по вечерам шуршали фантиками и шепотом ссорились, перебирая содержимое пакетов с подарками. Федор почти не изменился, лицо подростка, правда, уже в морщинах и все та же неуверенная улыбка... Он и сейчас мало чем отличался от себя двадцатилетнего — есть такой тип, Кирюхин читал, что-то там у них не в порядке с эндокринной системой. Оригинал, однако. Делает вид, что его не знает. Самоуглубленно перебирает шматы свинины. Ну-ну.

И какого черта он уставился на этого недоноска?!

Тетя Груша живет в общежитии для малосемейных. Вахтер за столом, телефон-автомат на стене, стойкий запах общей кухни. Слава Богу, тетка дома. Встречает она Кирюхина радостно, старушке скучно одной.

— Веришь, я сегодня вспоминала о вас! — восклицает она и лучится морщинистым лицом, так похожим на лицо покойной матери Кирюхина. — Телепатия прямо!.. Рассказывай, как у вас? Да не снимай ты обуви, так проходи! Давай сюда, к столу, чай пить будем. Или чего покрепче скажешь? Ты не стесняйся, у меня есть, скажи только!..

Радость тетки, похоже, вызвана еще одной причиной — от нее пахивает самогоном. В последние годы тетя Груша попивает. Не

по возрасту сноровисто накрывает на стол, между делом рассказывает о своей жизни. На пенсии Груша давно, но без дела не сидит, вяжет варежки и носки, ездит с ними на толкучку.

— Ты только подумай, Валя! Шарахнулся от меня, как от чумы! — вдруг в сердцах говорит она, останавливаясь посреди своей двенадцатиметровки с тарелкой в руках. И возмущенно смотрит на Кирюхина. — С какой стати? Что, я мяса у него попросила? Отродясь не побиралась и сейчас не буду. Аж перекосялся весь! Брат! Да пропади ты пропадом со своим мясом, нужно оно мне!..

Кирюхин уже догадывается, о ком речь, но тем не менее бросает на тетку удивленный взгляд.

— Ты что, крестная? Про кого говоришь?

— Да про Федьку, сегодня встретила! Обидно, Валь. Что я ему сделала, чтобы прятаться от родной сестры? Да он, заморыш, первый сдох бы, если б я в войну сахарин в лаборатории не делала и не торговала по деревням!..

Кирюхин плохо ориентируется в разветвленном генеалогическом древе своей липецкой родни, кроме давно умершего деда, тети Груши да еще вот Федора, он никого не знает. Он родился здесь, здесь учился, здесь работает и деревенских своих корней почти не ощущает. Мать умерла, умрет крестная — они и вовсе оборвутся. Неинтересны ему эти отношения, скучны. Да и не до этого сейчас. Нельзя засиживаться, через полчаса автобус.

— Крестная, у меня к тебе дело...

— Такая благодарность, Валь! Как хочешь, а обидно! — перебивает тетка. Она все не может успокоиться. — Меня за этот сахар под трибунал могли! Мне одной много ли надо? Я о них думала, чтобы с голодухи не померли. Тогда строго было, чуть что — статью в зубы и в тюрьму!.. А потом, когда Федька за колбасой приезжал — что у них в деревне было-то? И бутылку поставлю, и деньгами помогу. Ни разу не попрекнула ведь, слова не сказала!..

В конце концов Кирюхину удается утихомирить крестную. Когда он рассказывает, зачем пришел, Груша обеими руками хватается за щеки, горестно качает головой. Ой, несчастье! Ой, беда!.. Но тут же деловито начинает прикидывать, что можно по-быстрому приготовить и когда будет в больнице. Похоже, она даже довольна — появилась в ней нужда.

Кирюхина немного отпускает. Он оставляет крестной те небольшие деньги, что у него были, и спешит на автобус. Сегодня в концерне надо быть обязательно. Начнут давать справки на машинки.

Он вдруг остро чувствует, как устал. Опустошен. Почти физически чувствует себя полым — ни мыслей, ни желаний. Послед-

ние несколько недель, с тех пор, как началась бессонница, он вял, не может читать, думать о чем-либо более или менее серьезном, выходящим за пределы обыденных домашних забот. Уже кажется странным, что гаситель турбулентности на новых машинах — самая, пожалуй, изящная разработка института последних двух-трех лет — в том числе и его дело. Собирались даже выдвигать на госпремию, но ее в прошлом году прикрыли. Неужели смог такое?.. Сейчас он другой человек. Отскочивший кусок асфальта. Скомканная обертка от мороженого. В мокрых мартовских деревьях больше интеллекта, чем в нем.

По улицам движется оболочка сорокалетнего мужчины с бледным нездоровым лицом, небритым — забыл за всей этой нервозтрепкой. Таким опустошенным, полым Кирюхин был только в медовый месяц, в Геленджике. Но тогда опустошенность была понятная. Жизнь иссякала в нем, чтобы появлялась новая — Антошка, запульсировала эмбрионом в Тамаре. Всего этого он еще не понимал, но смысл был именно такой.

В чем сейчас?..

Все безразлично. Нет сил даже думать. Слякотный асфальт, бесцветные люди, дома и машины — все мимо. Исчезни разом, пропади, ничто не шевельнулось бы в душе Кирюхина. Да и где душа? Не чувствует ее в себе Кирюхин. Забиться бы куда-нибудь в угол, не трогайте меня. Устал.

Он так и делает. Занимает место в самом конце автобуса, благо автобус пуст, здесь конечная. Приваливается плечом и головой к стеклу, закрывает глаза. Все, час езды до концерна, час покоя. Все. Говорил же засранцу, предупреждал — допрыгаешься. Бизнесмен паршивый, молока с кефиром ему мало, доходы не те, а кругом гребут. Когда пропали дедовы медали, надо было душу вытрясти, но узнать, куда дел. Куда — ясно, перекупщикам, но как посмел? А с другой стороны, не станешь же драть ремнем, стыдно, здоровый лоб, на втором курсе института. И молчит как партизан, монотонно заладил: я не брал, это Вера. И так упорно, что он стал сомневаться — может и в самом деле дочь? Взяла показать подружкам и — потеряла. Верочка смотрит испуганными глазами, трясет головой, нет, папа, не я. И этот обормот стоит на своем, хоть пугай его, хоть обнимай за плечи и говори по-человечески. Уперся и все: я не брал. Он даже растерялся — что делать? Не станешь же в милицию звонить, чтобы разобрались, куда из дома подевались медали?..

Ладно, все. Хватит. Не думать ни о чем. Кирюхин заставляет себя представить круг света от настольной лампы, уютную тесноту своей каморки. Сокровенно лучатся детальки, похожие в ко-

робке из-под запонок на драгоценные вещицы. Хорошо. Покойно. Об этом и думать, на этом сосредоточиться.

Прежде чем выехать за пределы их городка, автобус делает две остановки, у "Океана" и на Лацкова. Он только еще притормаживает, а Кирюхин, не открывая глаз и скользя плечом по стеклу вперед, представляет мужчин и женщин, одетых похуже, толпящихся у жестяного флажка с автобусным расписанием. Озабоченные, алчные какие-то лица с быстрыми глазами — всем хочется сесть, дорога неблизкая, — бьют по ногам забрызганные грязью целлофановые пакеты с бутербродами и термосами, все бросаются, как стадо, к дверям автобуса...

Именно эти люди делают лучшие в мире перехватчики. Конечно, половина бездельники, балласт, но разве непонятно, что такие е КБ разгонять нельзя? Интересы у государства одни и те же, кто бы ни правил. Россия слишком большая, чтобы быть на побегушках. Даже Франция свою игру ведет. Хочешь не хочешь, не получится быть нейтральной Швейцарией. Очередное головокружение от успехов, теперь демократических. И хрен бы с вами, но почему за мой счет? В чем я, в чем моя семья виновата, что вы, бездари, оказались у власти? Даже скотине, если уж в хлев поставили, не дают сдохнуть. Даже скотине! Почему ваши игры за наш счет?!

Перестань, говорит себе Кирюхин. Перестань. Принимай как данность. Все у нас через жопу. Все. Ну их!..

Он чувствует, как рядом кто-то садится. Хорошо, если незнакомый, но на всякий случай Кирюхин даже приоткрывает рот — пусть думают, что спит. Ни разговаривать, ни видеть кого-либо он сейчас не в состоянии. Журчат впереди два женских голоса, в смысл слов Кирюхин не вникает. Вскользь отмечает: женщины стойче нас, так не дергаются. Позавидуешь. Автобус покачивает, голоса впереди умиротворенные, ажиотаж, вызванный посадкой, проходит. Все это вместе действует на Кирюхина успокаивающе. Ехать бы так и ехать, чтобы никогда не нужно было вставать, двигаться, думать, что-то делать — жить.

Помимо воли он начинает вслушиваться в слова женщин. Сторожевые центры сработали, выделили что-то важное в разговоре. Кирюхин с неохотой, с отвращением, но все же выходит из бессильной апатии, пытается различить разговор — проносящиеся встречные машины перекрывают на время в автобусе все звуки. Речь о загранице, у одной из женщин там муж по приглашению. Он на днях звонил, говорит, есть возможность получить гражданство. Аргентина самая цивилизованная в Латинской Америке страна, все, как в Европе, и уровень жизни приличный. Лишь бы не завел себе какую-нибудь сеньору. Женщины смеются.

Кирюхину не надо напрягаться, строить догадки — ему знакомы такие люди. На первый взгляд, как все, ничем не выделяются — ни зарплатой, ни положением в институте, но существуют слегка обособленно. Явно это проявляется в праздники, когда приглашают в гости по неведомому признаку, и хотя атмосфера их застолий основательно подразбавлена повсеместной итээровской незатейливостью, есть что-то и свое — то ли легкий выпендрож, то ли шарм. В их квартирах до сих пор встречаются антикварные вещицы, а в семейных альбомах можно увидеть фотографии мужчин в бородах и усах, тесных воротничках и женщин в длинных платьях с тяжелыми складками. Или вдруг узнаешь, что за очень посредственного Терлецкого просил академик и лауреат Ленинской премии. С чего вдруг?.. При Брежневe они особо не афишировали, что у них есть родственники т а м, а во времена Горбачева, с конца восьмидесятых, стали ездить за границу в гости. И секретность работы больше не мешала. Потом стали уезжать навсегда. Знакомым писали, что за границей можно делать то же, что и в институте, а жить тем не менее в загородных домах с бассейнами, отпуск проводить где-нибудь на Гаити или в Италии, среди античных развалин.

Не светит, думает о себе Кирюхин. Рылом не вышел, не благородных кровей. Родственники у него одни — от сохи, липецкие. Отец детдомовский, с той стороны вообще никого.

— Не спи, замерзнешь!.. Ладно, ладно, подъем!

Голос Юры Ванеева. Кирюхину глаза открывать не хочется, разговаривать не хочется, но Юра не отстает:

— Проснись, красавица, пора!.. Ну что ты, в самом деле, не спишь, вижу. Здесь у меня такая новость — закачаешься!..

Кирюхин знает, от Юры не отвязаться и, посидев еще несколько секунд расслабленно, делает вид, что просыпается, даже зевает и слегка потягивается. Вообще-то он удивлен, голос у Юры спокойный, уверенный, почти вальяжный. А когда Кирюхин останавливает на приятеле медленный взгляд все еще сонного человека, то замечает, что от судорожного утреннего Юры нет и следа. Широкое лицо Ванеева вполне осмысленно, роскошные, под Руцкого, усы шевелит добродушная усмешка.

— А где молодой? — спрашивает Кирюхин, сладко зевая. Он старается изо всех сил, ему не хочется, чтобы хоть в чем-то заметили его слабость. Прошлым летом Ванеевы выдали замуж дочь за штурмана-испытателя, а в последнее время зять тоже стал ездить в концерн — нет работы и у испытателей.

— С Валеркой все нормально. Институтское начальство заключило договор, теперь гоняют ИЛы на Камчатку. Обратил внима-

ние, горбуша в магазинах появилась? Оттуда. Платят хорошо, коммерческие рейсы.

— Когда Валерка успел — вчера с нами был...

— Шустрый, — довольно улыбается Юра. — Завтра уже улетает.

— Что за новость у тебя? Разбудил, понимаешь... — ворчит Кириухин. Отчасти искренне: каждый раз его охватывает недоброе чувство, когда он слышит, что кто-то устроился, зарабатывает на жизнь даже сейчас.

— О, моя новость многого стоит! Институтское начальство со своей коммерцией — дети!.. Про такую страну слышал — Новую Зеландию? А?

— Ну, ладно, ладно.

— Так, слышал? Точно говоришь?

Кириухин молча смотрит на Юру. Тот тем не менее держит паузу, затем будничным голосом, будто о чем-то незначительном, сообщает:

— Меня туда на работу приглашают. Три тысячи фунтов в неделю. Дорога за счет фирмы. — И не выдерживает, бросает ликующий взгляд на Кириухина.

Кириухин молчит, потом спрашивает:

— Как на тебя вышли?

— Есть, есть связи... — Юра хитровато отводит глаза, ухмыляется, шевеля усами. — Мог бы догадаться. Помнишь мою статью в "Вестнике авиастроения"? Там тоже читают. Приглашают воплотить в жизнь задуманное, так сказать.

Кириухин спрашивает, понимая, что спрашивать не надо, но тем не менее:

— А мои публикации там читают?

— Не знаю, старик, не знаю, — легко говорит Юра и несет что-то самодовольное о том, что в Новой Зеландии сейчас осень, отличная пора, можно будет со временем купить небольшую яхту, выходить в море — наконец-то попробует суп из акульих плавников, а то ведь только читал.

Кириухин запальчиво перебивает:

— Откуда у них КБ? На кой черт?! Им дешевле готовые самолеты покупать, у тех же американцев! Зачем велосипед изобретать? Зачем самодеятельность?..

— Понятия не имею. — Юра пожимает плечами. И опять начинает о яхте, о супе из акульих плавников, об уникальной природе островов — Новая Зеландия, оказывается, состоит из двух островов, Северного и Южного, его фирма находится на Северном, недалеко от Веллингтона. Специально смотрел в энциклопедии.

Кирюхин молчит, он больше не пытается Юру остановить, и тот болтает до самого концерна, упоенно болтает даже после того, как они выходят из автобуса, минуют проходную и шагают в толпе по слякотным дорожкам. Работают они в разных цехах, и Кирюхин резко обрывает Юру, когда тот пробует задержать его, прежде чем разойтись:

— Все. Спешу. — И тут же с мстительным чувством добавляет, опять понимая, что делать этого не надо: — Передавай привет Розе. Ей будет что вспомнить в заграницах. Чао!..

На участке упаковки ругаются.

Кирюхин совсем этому не удивлен — выясняют отношения здесь едва ли не все время. К тому же, досада, зависть и злость свели все внутри. Он раньше таким не был, он сам себе отвратителен. Как может изуродовать человека такая жизнь! Он ищет в себе остатки достоинства, крепится изо всех сил, но не всегда получается. Кирюхин проходит в раздевалку — огороженный закуток в углу участка, переодевается у шкафчика, выкрашенного в немаркий шаровый цвет. Весь его лексический запас сведен сейчас к словам: “Твою мать! Ну, твою мать!..”

— Слушай сюда, мужик. — Сбоку появляется плотная деваха в расстегнутом пуховике, довольно симпатичная. Она из другой смены, Кирюхин ее несколько раз видел. Приблатненная какая-то. Может, сидела, а скорее всего, нет, просто такой сейчас стиль среди молодежи. Косят под авторитетных, побывавших на зоне. — Мужик, ты вчера на коробках стоял? Чего молчишь, тебя спрашиваю. Стоял?

— Переодеться дашь? — зло поворачивается к ней Кирюхин. Развязности, тем более наглости в женщинах он терпеть не может.

Деваха уходит за шкафчики, оттуда громко говорит — то ли Кирюхину, то ли всей смене:

— Обнаглели, шестьдесят коробок заныкали! Мы что, пахать на вас должны? Допрыгаетесь, отвечаю!

Новая волна гвалта вздымается над участком — смена, обычно недружная, постоянно переругивающаяся, кричит на этот раз вся, в общем порыве. Деваха кричит тоже, кричат ее подруги, уже отработавшие и переодевшиеся.

Кирюхина это приводит в себя. Нельзя опускаться. Стыдно.

Надев рабочее и переждав гвалт, он идет искать мастера. Долго искать не приходится. Данута Йоновна сама плывет навстречу, успокаивающе кивает головой.

— Я все понимаю, Валентин Семенович. Сегодня обязательно рассчитаю — наряд на смену закрывать буду. Еще на месяц ос-

таться не хотите? Машины дефицит, не для себя, так продать можно.

Данута Йоновна уже бабушка, но в ее округлой фигуре, спокойно-внимательном лице, голосе с легким акцентом есть такое, что заставляет Кирюхина смотреть на нее с удовольствием. Даже сейчас, когда все стало в жизни тусклым. “М-да...” — думает Кирюхин. Без прежнего, правда, энтузиазма, но все же думает. Он чувствует, Данута Йоновна к нему тоже расположена. Может, ей нравится, что он не концерновский работяга, а человек здесь временный, из другого — интересного и престижного — мира. Может, он ей просто симпатичен как мужчина, почему бы нет. Спокойная симпатия людей не первой молодости. Еще способное выкинуть росток зерно, достаточно сделать шаг навстречу. Но Кирюхин знает, ничего между ними не будет. Не ко времени. Не суждено. И в понимании этого есть печальная сладость, свое мазохистское удовольствие.

— Ну так как, Валентин Семенович? Вы освоились, работу знаете... Останетесь?

— Еще не знаю, Данута Йоновна. Все зависит от того, как в институте сложится. — Кирюхин улыбается, ему говорили, что его улыбка действует на женщин. Он не такой уж ходок, но понимает, что жизнь дает нечастый шанс. Им ничто бы не мешало. Данута Йоновна разведена, Кирюхин это слышал от работающих на участке женщин, у нее отдельная квартира. — Сегодня как раз должен созвониться, станет ясно с институтом. Как говорится, все в руках Божьих...

— Что ж, пусть Бог будет к вам добрый.

Обоим эта игра нравится. На мгновение Кирюхин даже забывает обо всем, чем вынужден жить сейчас. Но только на мгновение. Оно неотвязчиво. К тому же, надо работать. Уже два мелькал Славка, бригадир, он ничего не скажет, но на участке всё друг за другом замечают. Какому-то инженеру из их института, который здесь работал до Кирюхина, смена поставила коэффициент трудового участия ноль-пять. Говорят, был с ленцой. Конечно, машинку все равно продадут, но обидно получать половину того, что получают женщины.

Нужны деньги, черт бы их побрал! Как нужны!..

Кирюхин идет в конец участка, приносит из кладовой и раскладывает вокруг себя картонные заготовки. Поработает пока на ящиках, надо будет, Славка переставит. Ну, поехали. Пол-оборота направо — под пальцами шершавая поверхность картона, резко на себя — торцом на стол — удар руками с обеих сторон — пыль, расходятся стенки сплющенного ромба, четыре лепестка бу-

дущего дна — пыль пахнет почему-то шоколадом, лепестки попарно вниз — хлоп, переворот — главное, чтобы коробка не завалилась набок, ее поднимает, клонит пружинисто расходящееся дно, подпереть коленом, хорошо, теперь поддон, резко на себя плоскую заготовку, осторожно, вот уж никогда не думал, что края срезанного гильотиной картона как бритва — гнущие движения кистями, еще раз, зафиксировать поддон в коробку, в ее четырехугольную черную утробу — перекосило, сильно ладонью вниз, пошло — запах шоколада уже привычен, работа пахнет шоколадом, пол-оборота налево к стопке длинных рифленых амортизаторов, тоже картон, но фактура другая, пальцы чувствуют — согнуть вдоль, переломить в четырех местах — тоже в глубь четырехугольной трубы-коробки...

Готово. В штабель. Двадцать секунд.

Боковым зрением Кирюхин видит надвигающуюся темную массу. Это баба Шура. Она на голову выше Кирюхина и в два раза шире его. Гренадер, штангист супертяжелого веса.

— Буду тебе помогать, пока транспортер не запустили, — объявляет баба Шура.

— Помогайте.

Можно было бы уже привыкнуть к размерам этой женщины, но Кирюхин каждый раз удивляется. Баба Шура сильнее его и бригадира Славки вместе взятых, она без труда переносит по четыре упакованные в ящики машинки и при этом то ли без меры добродушна, то ли глуповата. Женщины на конвейере время от времени меняются местами, потому что работа есть тяжелее и легче, а баба Шура постоянно на самом трудном месте — таскает от конвейера и укладывает в штабеля упакованные машинки.

— Семеныч, двести семь дней осталось, — сообщает баба Шура и поправляет выбившиеся из-под косынки седеющие волосы.

— Угу, — отзывается Кирюхин. Баба Шура считает дни до пенсии.

— Заснуть бы и проснуться через это время. Буду на даче жить. У меня там яблони посажены, крыжовник, четыре сотки под картошку... Хорошо буду жить.

Кирюхин соглашается.

— Одно не знаю, хватит ли пенсии. Цены сейчас вон какие... А так подумаешь, то чего бояться? После войны хуже было, карточки, голод. Ничего, выжили. И сейчас как-нибудь не пропадем.

Большое лицо бабы Шуры становится довольным, она вся в будущем, в своем пенсионном рае, и Кирюхин подлаживается, согласно кивает. Эта немолодая женщина загадка для него. С ее силой можно было бы на участке верховодить, поставить все так,

чтобы было по совести, справедливо и честно, а она даже за себя постоять не может. Или не хочет?

Опять непонятное, другая жизнь, как и то, чем живет его Антон. Пол-оборота направо — заготовку резко на себя — торцом на стол — удар руками с обеих сторон — новый выдох пыли, расходящиеся стенки сплющенного ромба... Тома молча манила пальцем. Кирюхин досадливо посмотрел на нее, отмахнулся: подожди, мама, мы с задачкой разбираемся. Тома сама подошла, взяла его за руку и потянула в маленькую комнату. Верочка, ты подумай пока, мы с папой сейчас. Кирюхин хмыкнул, пожал плечами — упорство для Тома непонятное, — уже сам, заинтригованный, шел за ней. “Смотри”. Жена откинула когда-то полированную крышку старого, еще родительского пианино, кивнула в глубь ящика с пыльными колками, толстыми струнами и фетровыми молоточками. Кирюхин знал, на самом дне у сына тайник, Тома случайно как-то обнаружила. “Опять презервативы?” — “Не смейся. — Тома была серьезной, почти испуганной. — Хуже, чем ты думаешь. Смотри”. Она сама засунула руку до подмышки вглубь, вытащила пачку недавно появившихся в обороте тысячерублевых купюр. За каждую из них Кирюхину нужно было бы работать два месяца. Он потер скулу. “Откуда?” — “Ты у меня спрашиваешь?” — “Ладно, не дергайся. Разберемся”. — “Еще не все”. Тома опять погрузила руку, вытащила пистолет. “Газовый, не паникуй, — сказал Кирюхин, покачивая на ладони черный револьвер. — Положи все на место. Я...”

— Валентин Семенович, Александра Ивановна, я вам подмогу привела. Покажите товарищу, что и как. — Мастер доброжелательно, немного заговорщицки улыбается, почти что интимно, голос у нее тоже особый. Сексапильный, думает Кирюхин.

— Товарищ — пройденный этап, — говорит он и смотрит на пожилого мужчину, стоящего рядом с Данутой Ионовной. — Господин, другое дело. Здесь только господа работают. Впрочем, беру обязательство подготовить себе достойную замену.

Улыбается мастер, улыбается баба Шура, улыбается новенький, показывая слишком белые, чтобы быть настоящими, зубы. Сразу видно, что он из идейных борцов за право купить машинку по себестоимости. Что-то в его сухом умном лице кажется Кирюхину знакомым, но вспомнить сразу не удастся, и Кирюхин, проводив Дануту Ионовну взглядом, принимается показывать, как делают (крутят, говорят на участке) коробки.

Новенький неловок, забывает последовательность немудреных операций. Часто останавливается и озадаченно морщит лоб. Кирюхин его понимает, он сам начинал так же.

— Вы сегодня за молоком на Ильинке не стояли? — спрашивает вдруг новенький. — Очень похожи.

— За молоком? — не сразу соображает Кирюхин. Все, что случилось до звонка сына, кажется далеким, почти неправдоподобным.

— В очереди еще дискуссия развернулась. Сейчас что ни очередь, то дискуссия. Вы, правда, молчали. Но у меня хорошая зрительная память. — Последние слова новенький произнес не без самодовольства.

Кирюхин бросает взгляд на его ноги. Точно, доисторические белые бурки. Как только сохранились, опять удивленно думает он.

— Игорь Николаевич. — Новенький протягивает руку. — Рад познакомиться.

Кирюхин бормочет что-то в ответ. Ему неприятен этот человек, он сам себе удивляется. Ничего новенький ему плохого не сделал — ни тогда в очереди, ни сейчас. В самом деле, странно.

Раньше над этим можно было бы поразмыслить, но теперь мозг на уровне рефлексов, противится любому усилию, обескровлен. Кирюхин старается не смотреть на Игоря Николаевича, он налегает на работу. Перевернул, коробка заваливается, подпереть коленом — надоедливо пахнет шоколадом, плоская заготовка поддона, осторожно, не порезаться, так можно шоколад возненавидеть — согнул — резко вглубь — ненависть, все равно хер уже купишь, недоступен, пол-оборота налево к рифленным амортизаторам, пальцам удобно братья — согнуть вдоль, переломить в четырех местах...

Вечером он долго не ложился, специально ждал Антона. Тот пропадал теперь целыми днями неизвестно где, появлялся поздно и уходил в свою комнату. Кирюхин как-то уже заводил разговор, что бизнес — дело хорошее, но учебу запускать нельзя, диплом есть диплом. Вся эта пена когда-нибудь сойдет, а грамотные инженеры нужны будут всегда. Он не очень в это верит, но говорил. “Я институт не запускаю, пап”, — Антон смотрел так честно, прямо в глаза, что он понял: врет. Уже раздражаясь, стал говорить, что нельзя поддаваться общей истерии, у них все-таки интеллигентная семья, нельзя себя ронять. Сын ударил по самому больному, сострил, засранец. Ты, пап, работаешь на космос, а сосед с четвертого этажа — в “Космосе”. Он недавно машину поменял, а у тебя ее нет и вряд ли когда будет. Сосед, между прочим, в институте не учился... Он не сдержался, ударил Антона по щеке, глупо вышло, по-театральному, оскорбленный отец наказывает непочтительного сына. Лицо у Антона сделалось замкнутым, упрямым. Парень он, в общем-то, неплохой, хотя и скрытный, с ним надо иначе.

И когда в тот раз Антон появился во втором часу, он сделал вид, что так и должно быть, позвал на кухню пить чай. Посмеиваясь, сказал, что по агентурным данным Антонов бизнес процветает, в банках осели многие тысячи, любопытно, какие планы по их реализации. Антон сразу все понял, бросил сметливый взгляд: “Нашли?” — “Есть момент. И нелогично поступаешь. Если уж поздно возвращаешься, носи с собой пистолет. Все же нам с мамой спокойней будет”. — “Я, пап, не один”. — “Вы что, компанией ходите? Или у тебя телохранители?.. Важная птица, поздравляю”. — “У нас фирма, пап. Все солидно, ты не беспокойся”. — “Приятно слышать, что ты у нас крутой бизнесмен. Тогда, может, семье поможешь?” Антон замялся. “Это деньги фирмы. Мы только раскручиваемся... Пап, ты не обижайся. Ты должен понять, я не один в фирме”. — “Ладно, не суетись. Чем вы занимаетесь?” — “Я не могу сказать. Коммерческая тайна”. — “От меня тоже?” — Кирюхин вздернул брови. Он старался быть ироничным и сдержанным, не показывать своей тревоги. “Пап, пожалуйста. Ты должен меня понять”. — “Ладно, Ботанищев, что с тобой поделаешь. Понимаю”.

Допонимался... Надо что-то делать. Самому. О милиции в больнице он просто так сказал. Но что придумать? Что? Здесь еще Юра душу перевернул со своей Новой Зеландией. Кирюхин опять ступнями, всем телом чувствует, как гудят, сдвигаются где-то глубоко мощные пласты, угрюмая безжалостная сила вот-вот сомнет, раздавит, размажет, как червяка, — отчаяние и ужас охватывают его. То, что было в Геленджике — мелочь, по молодости не воспринимал всего, да и перед Томой хорохорился, все-таки мужик. Подлость ситуации в том, что старый пудель, новым фокусам не выучится. Сорок лет, поезд ушел, не вписываешься в ситуацию!..

Он знает, что никогда не простит э т и м происходящего. Что бы потом ни было, какой бы рай и благоденствие ни наступили. Нельзя так с живыми людьми. Нельзя. Впрочем, нужно им его прощение!..

— Баба Шура-а!..

Конвейер заработал. Шаркая толстыми слоновьими ногами, уходит баба Шура. Наступает самое тяжелое, только успевай подавать машинки. Бригадир Славка похож на спортсмена на старте: весь в готовности, наряжен, лицо его порозовело, закатанные рукава рубашки обнажили белые веснушчатые руки — Славка рыжеват. Он на самом ответственном месте конвейера, от него зависит, сколько машинок будет упаковано. Славка оглядывается, цепкими быстрыми глазами окидывает смену.

— Поехали!

— Пошел ты!.. — неожиданно злобно отзывается Люба, плотная молодая женщина. Она в смене, что называется, неформальный лидер и во многом непредсказуема. Впрочем, место свое на конвейере все-таки занимает. Кирюхин чувствует, Люба не в настроении и вполне возможен скандал. Так уже было недавно. Заведет кого угодно.

— Давай, давай!

— Ладно, погоняло!..

Шуршат отполированные цепи транспортера, плывут на них ящики, которые только что сделали Кирюхин, баба Шура и новенький. Теперь надо быстро брать поступившие со сборки и проверенные уже здесь, на участке, машинки, ставить их в эти ящики. В каждой килограммов по семь, одну в правую руку, другую в левую, но не это тяжело, куда хуже пробираться к транспортеру. Проходы узкие и все забиты машинками. И надо быстро, быстро — конвейер не ждет.

Через несколько минут Кирюхин уже мокрый.

— Хороший тренинг, — говорит Игорь Николаевич, когда они сталкиваются у транспортера. Новенький улыбается, держит машинки в полусогнутых руках без напряжения, и Кирюхин думает, что он не такой уж старый, как показалось вначале. Игорь Николаевич кивает на сидящую за столом и что-то пишущую Дануту Ионовну: — Хочу спросить насчет мастера. Она что, литовка?

— Похоже.

— Ага, уроженка, значит, ныне независимого государства. Иностранка, можно сказать... — Глаза Игоря Николаевича останавливаются, сосредоточенно смотрят внутрь себя. — На родину не собирается?

Кирюхин пожимает плечами.

— Зачем это вам?

— Для общего развития, — усмехается новенький. Сейчас особенно видно, что он не прост, этот Игорь Николаевич. — Интересно исключительно в образовательных целях. А то ведь как? В лесу известны все дела орлу на уровне орла, грачу на уровне грача, сычу на уровне сыча. А что там знает воробей — не представляю, хоть убей!..

— Из умершего поэта эпохи застоя?

— Оно.

Смена смотрит на них неодобрительно — слишком долго стоят без дела, — но Игорь Николаевич словно не замечает этого. Видно, что он быстро осваивается в любой обстановке, уже вальяжен, ироничен и не отпускает рукав Кирюхина до тех пор, пока

не заканчивает стишок. Кирюхин отходит от него, озадаченно приподняв брови. Силен, однако.

Когда выдается минутная пауза — что-то там у Славки заело, — Кирюхин спешит к телефону-автомату в сборочном цехе рядом. Достает пятнашку, крутит разболтанный диск и опять задерживает дыхание, ждет, слушая длинные гудки. Даже затыкает пальцем второе ухо, чтобы не мешал грохот прогоняемых на стендах машинок. Но трубки у Нуриджановых не берут. Никого дома. Кирюхин еще раз набирает номер. Тот же результат.

Он чувствует себя восьмилетним мальчиком, который стоит напротив двухэтажного “дворянского гнезда” и кричит, подняв голову к окну комнаты одноклассника: “Во-ва! Вов-ка!..” У одноклассника отец большой начальник в институте, вся эта тихая улица застроена аккуратными коттеджами на две семьи, и Кирюхину кажется странным, что у Вовки есть своя комната с настоящим письменным столом и большим сине-зелено-коричневым глобусом — сам он делает уроки на кухне. Одноклассник позвал вчера на день рождения, но женщина в нарядном крепдешиновом платье и в лаковых туфлях на очень высоких каблуках — она только что открывала дверь — сказала, что Вова уехал к бабушке. В лице женщины, во всем ее виде есть что-то такое, что заставляет его вернуться через несколько минут обратно и кричать, подняв голову к окну на втором этаже: “Во-ва! Вов-ка!..” Окно распахивается, все та же женщина говорит: “Мальчик, я тебе сказала русским языком, Вова у бабушки”. Сквозняк развеивает ее завитые и подколотые у висков волосы, из-за спины слышны веселые голоса. Кирюхину стыдно, но ему страшно хочется туда, где праздник и сладкий стол. Побродив вдоль “дворянских гнезд” еще, он опять возвращается к Вовкиному дому и стучит в дверь. Он стучит долго. Он зовет, глядя на заветное окно. Ничто не помогает. К нему никто не выходит.

Какие мы нежные, усмехается Кирюхин. Нашел время рефлексировать! Нуриджанов бегают по делам, жена на работе, сын ушел к приятелям. Все именно так. Может, даже номер не набрался. Диск телефона-автомата болтается, как дерьмо в проруби. Давай на участок, крика тебе не хватало. Шустрее, шустрее!..

И от этих грубоватых свойских слов самому себе становится будто легче.

Обед во вторую смену ранний. Без десяти шесть Кирюхина отправляют занимать очередь в столовой. Он не возражает — это несколько лишних минут отдыха. Столовая одна на несколько цехов, и народа уже порядочно. В просторном, выложенном светлой

плиткой помещении витают запахи пищи, монументальные раздатчицы в белых фартуках неторопливы. И — тихо. После суеты и шума участка здесь особенно хорошо.

И вообще, блаженство — стоять и ничего не делать. Мышцы устало мозжат, майка и рубашка мокрые от пота, но даже это не в счет. Просто стоять и ничего не делать. Кирюхин опускает в карман руку, нащупывает деньги. Их совсем немного, почти все оставил тете Груше, но тут пальцы натыкаются на жесткую новую купюру. Доллар, который Официант дал утром. Сейчас Кирюхину уже приятно, что у него есть доллар, хотя, конечно, в столовой он бесполезен. Кирюхин усмехается — какая все-таки человек скотина! Все рядом, оскорбление, которое утром казалось кровным, и нечаянная маленькая радость теперь.

Но по-настоящему Кирюхина занимает сейчас другое. Чем ближе он к раздаче, тем ему беспокойней. Он старается справиться с собой, для этого нарочито расслабленно поводит плечами, пробует даже рассеянно насвистывать. Не помогает. Мандраж только сильнее. Уже можно достать закуски. Быстро съесть тертую морковь со сметаной, а блюдечко спрятать в карман халата. Нет, лучше ветчину с капустой — дороже и калорийней. Сайру тоже можно, а блюдечко в другой карман. Не только потому, что вкусно и есть хочется очень. Еще потому, что все нелепо, до смешного дорого и съедобное оттого приобретает самостоятельную ценность. Над ним ореол недоступности и притягательности. Дикая штука! Кирюхин в очередной раз унижен, но верткая животная сущность ищет выхода, погибать ей не хочется — укради, возьми силой или хитростью.

— Куда! Куда! — слышится скандальный голос от кассы. — Ты что, сволочь, прячешь! Что прячешь! Мне за тебя платить потом?!

У Кирюхина обрывается все внутри, он медленно поворачивает голову. Лицо кассирши злобно, кричит она на мужчину, стоящего за несколько человек перед Кирюхиным. В руке у того неловко застыл сочник.

— Не умеешь — не воруй! — издевательски, громко поучает кассирша. — У нас свои не воруют, не то что вы!.. Напринимают черт-те кого!

Кирюхина словно током пронзает. Когда мужчина берет свой поднос и отходит от кассы, сомнений уже нет. Юра Ванеев. Вот дурак, думает Кирюхин, ему-то зачем?..

Сбоку выныривает бригадир Славка. Он по-хозяйски смотрит по сторонам, выбирает из закусок самое дорогое, опускает себе на поднос. За ним появляется Игорь Николаевич, тоже становится перед Кирюхиным. Женщин нет, те предпочитают есть захвачен-

ное из дому, прямо на участке. Одна только Данута Йоновна подходит к кому-то из знакомых, но это впереди.

— Нормально! — Славка оглядывается на очередь, которая вытянулась уже до середины зала. Он доволен, что долго стоять не придется. — Пять минут, и мы в порядке!..

Доволен и Кирюхин. При Славке и Игоре Николаевиче его подлая животная половина, которую он откровенно побаивается, что-нибудь позволить себе остережется. Чутка, осторожна эта половина. Рысь на дереве, укрытая ветвями, все время готовая к действию. Может, уже и не половина. Может, больше. Кирюхин знает, она растет и все основательнее забирает над ним власть.

— Сегодня утром говорит: папка, это платье бяканое, в садик не одену. Не одену, и все!.. — вдруг говорит Славка. Его большое, по-особому белокожее лицо, как бывает только у рыжеватых людей, счастливо расплывается. Это Славкина слабость, рассказывать о дочери. — Новое ей подавай. Чтоб красивое! А всего три года и пять месяцев. — Не буду, папка, бяканое!.. Надо же, такой короедик, а уже к тряпкам тянется. Женщина!..

Славка говорит, и видно, что никто ему сейчас не нужен, он вполне самодостаточен, может обойтись и без слушателей. От женщин на участке Кирюхин знает, что жизнь у Славки непростая, он женат второй раз, первая жена умерла от рака, оставив ребенка.

— Платье, это, конечно, хорошо. А вот где пани Данута? — Игорь Николаевич не склонен подыгрывать бригадиру, восхищаться его дочерью. Он смотрит в зал, пытаясь отыскать столик, за которым села мастер. Находит и цокает языком. Кирюхин догадывается, Игорь Николаевич хотел подсесть к Дануте Йоновне, но все места за ее столиком заняты.

Он тоже ищет глазами — Юру Ванеева. Юра быстро ест, втянув голову в плечи и низко наклонившись к тарелке. Ничего победительного, того, что было, когда они ехали в автобусе, в нем не осталось. Кирюхин брезгливо жалеет Юру, хотя понимает, что вполне мог оказаться на его месте. Не понимает одного — зачем тому понадобилось воровать сочник. Человек одной ногой за границей.

Когда они расплачиваются, толстая кассирша удивленно смотрит на Кирюхина. У него на подносе винегрет, чай и три кусочка хлеба. Для мужика это ничто.

— Талию берегу, — усмехается Кирюхин.

За столом Игорь Николаевич, не обращая внимания на попытки Славки рассказать какую-то историю о дочери, принимается рассуждать об особенностях русской государственности. С чего вдруг — понять тяжело. Похоже, этот неугомонный человек живет

сразу в нескольких измерениях: вынашивает какие-то свои планы относительно Дануты Йоновны, готов процитировать строки из поэта эпохи застоя, демонстрирует пренебрежительное снисхождение ко всему вокруг и Бог знает где еще витает его насмешливый ум. По словам Игоря Николаевича, в России никогда не считались с личностью, такова особенность здешней власти. Больше всего достается интеллигенции. Она воспитана на европейских образцах, а тут на тебе — стопроцентная азиатчина. В этом-то драма интеллигенции, отсюда все ее стоны и всхлипы. Лет через сто, быть может, что-нибудь и изменится. И то, если Штаты будут присматривать. Но мы сто лет не проживем, надо сейчас что-то делать. Говоря все это, Игорь Николаевич поглядывает в сторону Дануты Йоновны.

Кирюхин успел отвыкнуть от слов, которыми оперирует этот человек, от самих отвлеченных разговоров. Но он не может избавиться от непонятной неприязни к Игорю Николаевичу, поэтому пробует иронизировать:

— И что из сего следует?

— А ничего. Анекдот расскажу. Юный червяк впервые выполз из навозной кучи. Смотрит вокруг и глазам своим не верит. Трава зеленеет, солнце светит, цветы благоухают... Он спрашивает у отца: “Папа, почему мы живем в дерьме? Смотри, как хорошо вокруг!” — “Ты еще многого не понимаешь, сынок, — отвечает ему мудрый отец-червяк. — Запомни, есть такое слово — родина!..”

— Вы насчет того, что надо уезжать? Но русская интеллигенция всегда служила своей стране, не бросала ее в тяжелое время. — Кирюхин сам понимает, что его слова худосочны, выспренны, но уступать этому насмешливому бесу не хочется.

Сожаление появляется в глазах Игоря Николаевича.

— Вы серьезно?.. Эти разговоры хороши под коньячок. Думаете, я ему нужен? — Игорь Николаевич кивает на примолкшего Славку. — Он только спасибо скажет, если ему не будут напоминать о достоинстве, чести и прочем. Он прекрасно проживет без нас с вами. Спасаться надо.

Бесцеремонная прямота отталкивает, но в то же время есть в словах этого человека что-то и притягательное. Кирюхин озадачен, зачем-то спрашивает:

— Вы где работаете? — Сразу же поправляется, вспомнив о возрасте Игоря Николаевича: — Где работали?

Тот не отвечает. Встает и, не спуская глаз с отобедавшей и поднявшейся из-за стола Дануты Йоновны, торопливо идет за ней.

Кирюхин доедает хлеб, запивает его чаем. Потому и неприятен этот человек, что вытаскивает на свет то, что не смеет высказать он, Кирюхин?..

До конца перерыва еще несколько минут, можно успеть позвонить. По пути к телефону-автомату Кирюхин решает — кому, Нуриджанову или тете Груше, монетка у него осталась одна. Мысли о сыне ни на секунду не отпускают.

Опять разболтанный диск, опять безответные гудки. Кирюхин прижимает трубку к уху и думает, что тетка еще в больнице, это хорошо. Утром он сказал Антону, что они не в Сицилии, но сейчас ему тревожно оттого, что на улице стемнело, впереди долгая ночь и Антон, в общем-то, беззащитен. Кто может помешать? Старуха на вахте, дежурная медсестра?.. Раньше ему и в голову не приходило, что американские детективы о мафии могут иметь отношение к настоящей жизни. Ведь зайдут и прикончат!

Опять ударили барабаны паники, судорожно сжимается машинка. Кирюхин приказывает себе успокоиться, но успокоиться не получается. Сегодня он пойдет в больницу дежурить, решено, переночует рядом с Антоном. Надо только взять у мастера справку на машинку, и он уедет. Пусть даже ему не засчитают смену.

Против ожидания работать на участке еще не начали. Бригада собралась у конторки мастера и что-то обсуждает. Увидев Кирюхина, женщины замолкают, и он понимает, что речь шла о нем.

Решали, какой ему дать коэффициент трудового участия? Кирюхин спокоен, месяц он отработал добросовестно, наравне со всеми. Значит, и зарплата будет как у всех. Что с того, что он временный работник.

— Вот и Валентин Семенович подошел. Присоединяйтесь к нашему собранию, Валентин Семенович... Товарищи, — Данута Ионовна мило смущается. — Даже не знаю, как теперь обращаться... Совет трудового коллектива нашего концерна решил проводить выборы мастеров и начальников цехов. Раньше их свыше назначали, теперь будете сами выбирать. В том числе и на нашем участке.

— Так мы тебя, Ионовна, можем скинуть? — громко, словно удивляясь, говорит скандальная Люба и обводит всех медленным взглядом. — Наконец-то!

— Сама, что ли, в мастера метишь? — перебивает ее Славка. — Кто за тебя голосовать-то будет?

— Не за тебя же, козла, голосовать! Снюхались, думаешь, всю жизнь в начальстве будете? Накомандовались! Привода коробками воруете!

— Ты докажи, докажи! Сама вчера мотор в раздевалке прятала!..

Слушать все это тягостно. Кирюхин не уверен только в одном: все время эти люди такими были или последние годы вытолкнули наружу всю дрянь и дерьмо, которые в благополучные време-

на скрыты. Игорь Николаевич — он стоит ближе всех к мастеру, почти касаясь ее — с азартным интересом наблюдает за происходящим. Встретившись глазами с Кирюхиным, подмигивает. Такие, мол, пироги! Огромная баба Шура слабо машет рукой и уходит на рабочее место, принимается “крутить” коробки. Вековые усталость и покорность сквозят в ее движениях.

Первый автобус от концерна в их городок уходит в десять часов. За полчаса до срока Кирюхин направляется к конторке мастера. Данута Ионовна занята какими-то бумагами, но сразу же поднимает на Кирюхина ясные глаза.

— Пожалуйста, ваша справка, Валентин Семенович. Я все помню, сделала. Завтра обратитесь в бухгалтерию, вас рассчитают и дадут талон на машинку. Вы какую хотите взять, “Чайку” или “Чайку-2М”? Советую “Чайку-2М”, она делает больше операций, на ней можно даже вышивать...

Все, вроде бы, как всегда, доброжелательность и словоохотливость, но что-то в Дануте Ионовне Кирюхину не нравится. Похоже, она знает про него нехорошее. Так врачи ведут себя с тяжело больными, которые о своей болезни еще не подозревают.

— Почему мне такой низкий коэффициент дали? — наобум говорит Кирюхин и тут же по глазам мастера понимает, что попал в точку. — Это у вас принцип такой, обирать временных работников?

— Это не мое решение, Валентин Семенович. Так бригада решила. — Данута Ионовна смущена. — Вы же не станете утверждать, что разбираетесь во всем, как Слава, например.

Смущен и Кирюхин. Не так ему хотелось расстаться с приятной женщиной, нет, не так. Но его уже понесло:

— О чем вы говорите! Я кандидат наук, в чем здесь разбираться!.. — От возмущения, от несправедливости у него перехватывает горло. — Вы мастер, ваше слово что, ничего не значит? Вы разве не могли настоять?

— Я сегодня мастер, завтра — не мастер. Поговорите с бригадой, докажите ей. — Данута Ионовна берет ручку и делает вид, что углубляется в бумаги.

Кирюхин резким движением сдергивает со стола справку на машинку. Ничего, завтра пойдет к начальнику цеха! Понадобится, дойдет до директора концерна!..

Кирюхин слышит, как прекращает работу транспортер, тишина зависает над участком. Он оглядывается назад и первыми видит бригадира Славку и Любу. Славка смотрит на него исподлобья, настороженно, Люба — с откровенной злобой, готовая вот-вот взорваться криком.

Бесполезно.

Одного он все-таки сумел избежать. Тома уже про Антона знает, рассказывать ни о чем не надо.

— Что теперь делать? — говорит жена и с надеждой смотрит на Кирюхина.

Они сидят на кухне, Кирюхин ест суп, сваренный из костей. Их, каждый раз стесняясь, Тома покупает вот уже несколько месяцев.

— Что делать? — Кирюхин старается говорить так, чтобы голос звучал уверенно и вполне бодро. Этими уверенностью и бодростью должна проникнуться жена. — Если разобраться, ничего страшного с парнем не произошло. Просто напали хулиганы, от этого никто не застрахован, тем более сейчас. Запретим ему шляться по ночам. Пусть дома сидит, к лекциям готовится.

— Думаешь, это не из-за денег? — Томе очень хочется, чтобы Кирюхин ее переубедил.

— Конечно, нет! — твердо отвечает он. — Нашла акулу капитализма. Кому он мог дорогу перейти со своим бизнесом? Это нам его деньги кажутся большими, а для серьезных людей — ерунда. На преступление из-за таких не идут... Я тебе говорю — случайность!

Тома, похоже, несколько успокаивается. Тем более, она недавно из больницы, сменила тетю Грушу и сама видела, что с Антоном не так уж и плохо. Тома начинает рассказывать о событиях, произошедших за день, постепенно становясь домашней, родной, привычной — такой, какой Кирюхин ее знает.

— Пойдем спать? — наконец спрашивает жена, помыв посуду и вытерев со стола.

Если бы не его решение дежурить ночь у Антона, пришлось бы изворачиваться, что-то придумывать, лишь бы не ложиться одновременно с женой. Сейчас Кирюхин спокоен.

— Схожу-ка я к Антону. Посмотрю, как он там.

— Начало первого, Валя! Я час как от него, все нормально, — со скрытой обидой говорит Тома. Обида ее смешана со смущением, жена старается не смотреть на Кирюхина. — Ты ничего не подумай, я совсем не о том... Просто хотела к тебе под крылышко. Полежать, пошептаться...

Кирюхин тоже отводит глаза.

— Вернусь, пошепчемся, — быстро отвечает он и уходит в темную комнату.

Осторожно, чтобы не разбудить Верочку, достает из недр пианино Антонов газовый пистолет, прячет его в карман. Прислушивается к сонному дыханию дочери. Мимо дома проезжает машина, на секунду освещает потолок, и слабый отсвет ложится на

лицо Верочки. Легкие русые волосы, еще детский овал щеки, вздернутый Томин носик... Только тебя, милая, пока не задело, думает Кирюхин. Только тебя. Надолго ли?.. От нежности к дочери и страха за нее сжимается сердце.

На улице подмораживает, шаги Кирюхина далеко слышны в темном пространстве между домами. Кирюхину хочется, чтобы на него сейчас напали, уж он тогда бы выместил все, что накопилось. Пистолет не понадобится, он будет рвать зубами, грызть глотки. А если убьют, тоже хорошо. Лишь бы вышло так, чтобы потом не опознали — хоронить его Томе не на что. Как и утром, хрустит под ногами подмерзшая мартовская слякоть, ярусы окон опять темны, лишь в нескольких тревожно мерцает свет телевизоров.

С улицы больничный холл похож на огромный пустой аквариум. За стеклянными стенами нет жизни, лампы дневного света бросают молочные блики на диваны вдоль стен, на плитку пола, на листья раскидистого растения в квадратном ящике. Кирюхин долго стучит. Появляется женщина в мятом — уже спала — белом халате.

— У меня здесь сын лежит, — кричит Кирюхин сквозь толстое стекло, — впустите на минутку!

Женщина недовольно советует прийти завтра, сейчас нечего, поздно.

— Завтра я в командировку уезжаю, — врет Кирюхин. — Мне на минуту, попрощаться только. — Он достает и прикладывает к стеклу заработанный утром доллар. Очень кстати пришелся.

Довод убедительный. Еще посомневавшись, дежурная все-таки открывает дверь. Кирюхин сует в карман ее халата доллар и торопится к лифту. Лифт уже не работает, и Кирюхин быстро, задыхаясь, поднимается на шестой этаж по лестнице. Ему кажется, если он именно сейчас промедлит, с Антоном обязательно что-то случится.

В хирургии сонно, тихо, свет горит лишь на посту медсестры, и Кирюхин облегченно переводит дыхание. Дежурной медсестре он говорит то же, что и женщине в холле, обещает через минуту уйти и вскоре уже стоит в палате, привыкая к темноте.

— Ты что, пап? — шепотом спрашивает Антон.

— Не спишь? — Кирюхин осторожно двигается на голос, находит ощупью стул и садится. — Как дела?

— Вроде ничего.

— У меня здесь, Ботанищев, мысль появилась. Ты не спеши отвечать, сначала все взвесь. Думаю, тебе какое-то время надо пожить у бабушки. Понимаешь меня?

Антон долго не раздумывает:

— А как дедушка к этому отнесется? — Он не возражает, он согласен уехать из родного городка, от друзей и знакомых, от них с Томой, наконец. Все оказывается даже серьезней, чем думал Кириухин.

— А что дедушка? Во все детали посвящать его не будем, просто поедешь в гости. Он вас с Верой в каждом письме приглашает... Сначала сделаем так, а там посмотрим. — Кириухин рад, что голос звучит рассудительно и твердо. Сын не должен почувствовать его состояние.

Загудел лифт. В больничной тишине этот звук отчетлив, хотя идет будто из-под земли. Кириухин настораживается, и не только потому, что десять минут назад лифт был отключен. Страх перед подземным гулом навсегда вьелся в его мозг. Щелкнуло, открываются двери лифта, суматоха и сдавленные голоса в коридоре. К палате идут, и Кириухин сует руку во внутренний карман куртки, где у него газовый пистолет. На пороге распахнутой двери стоит дежурная медсестра, шарит по стенке рукой, быстро находит выключатель.

— Мужчина, надо помочь.

Щурясь от света, Кириухин поднимается со стула, кивает Антону, мол, я сейчас, и следует за медсестрой. Руку из кармана он не вынимает. Выйдя в коридор, настороженно смотрит по сторонам. У кабины лифта топчется женщина, ее движения суетливы и беспорядочны, она шмыгает носом, тихо поскуливает. Виден край носилок, на них неподвижное тело, прикрытое плащом.

— В операционную, — командует медсестра.

Кириухин вскользь удивляется — где санитары? Почему на носилках, а не на каталке? — но сталкивается взглядом с причитающей женщиной и замирает.

Роза Ванеева.

— Юра?.. С Юрой?..

— Упал родной мой с балкона! Нечаянно упал! — рыдает Роза и тычется Кириухину лицом в грудь. — За что, Господи? За что?!

— Женщина, прекратите, — приказывает медсестра. — Мужчина, беритесь с той стороны. — Она поворачивает к Кириухину строгое лицо, осуждающе, с досадой говорит: — Четвертый за этот месяц. И все нечаянно!

Кириухин, боясь взглянуть вниз, идет за сестрой. То, что на носилках, молчит, и молчание это давит на Кириухина невыносимо. Дверь отсекает Розин плач, в ноздри бьет особый медицинский запах. Не может быть, думает Кириухин. Не должно быть. И тут же: так просто?..

Он гонит от себя эту мысль, но она неотвязчива. Кирюхин призывает все свое мужество, резко выдыхает и сжимает зубы.

Его вцепившиеся в ручки носилок пальцы белеют от напряжения.

Они были заняты собой и сначала не обратили внимания на голоса. Это случалось часто — тропинка к морю проходила мимо их коттеджа, и далеко за полночь можно было услышать скрип гальки, неясные смешки в темноте, обрывки разговоров — многие в Геленджике ходили купаться голышом. Кто-то опять прошел под окнами, и разговаривали не только взрослые, явственно слышались детские голоса, а по стене торопливо мазнул свет карманного фонарика.

Это было странно — глубокая ночь, почему дети не спят? — однако мысль прошла краем сознания.

Вдруг Тома замерла, неудобно приподняв над подушкой голову: “Послушай”. Кирюхин задержал дыхание, но ничего не услышал. “Дрожит”, — сказала Тома. “Что дрожит?” — не понял он. “Земля. Я спиной чувствую”.

Они быстро оделись. Испуга не было, но стали понятны и озабоченные голоса, и торопливые шаги, и непривычное для ночи многолюдье. Кирюхин щелкнул выключателем, но свет не загорелся. Тома крепко ухватила его за руку и потянула наружу. Он попробовал пошутить, но Тома не отозвалась.

Плохо различимые в темноте, на вершины прибрежных холмов поднимались люди. Сколько их, трудно было понять, но, похоже, уходили не только из их пансионата. Весь склон испятнал желтый свет фонариков. Кузнечиков не было слышно, сильно и тревожно пахло полынью, черный простор вокруг дышал враждебностью.

Сейчас уже и Кирюхин чувствовал, как подрагивает земля. Его вдруг качнуло, он инстинктивно расставил в стороны руки, ухватился за Тому. Молодой жаркий стыд обдал его. Скрывая досаду, он опять попробовал схохмить, но со стороны обрыва над морем тяжело ухнуло, мелко покатилося, затрещало дерево, и чей-то голос сказал: “Крайние домики”.

Вокруг панически затолкались. “Валя”! — крикнула жена, потеряв его руку. Кирюхин бросился на крик, выхватил Тому из запаленно дышащей и мощно напирющей толпы. Он сам на минуту поддался общему страху и, не выпуская ледяных Томиных пальцев, потащил ее подальше от обрыва. Кроссовки проскальзывали на обожженной южным солнцем крошащейся глине, голые — Кирюхин был в шортах — ноги рвали колючки.

Вдруг утробно, подспудно загудело. Кирюхин подумал, что так гудит в метро, когда стоишь на платформе, поезда еще нет, не видно даже отблеска его фар в темном повороте тоннеля, но звук уже возник и медленно набирает силу, становится все явственней, мощнее, шире, заполняет наконец все пространство станции и легко перекрывает шарканье сотен подошв и слабые человеческие голоса. Тома опять потянула его вверх. Утробное гудение угрюмо нарастало, земля под кроссовками дернулась раз, второй, колыхнулся воздух, угрожающе сдвинулось пространство.

Было что-то апокалипсическое в этом множестве полуодетых людей, в темноте молчаливо бегущих вверх. Иногда кто-то из них спотыкался, падал или просто опускался на склон, выбившись из сил. Тогда его отталкивали в сторону, топтали, выбрасывали из общего движения, из самой жизни.

На вершине холма Кирюхин остановился. В обе стороны вдоль моря свет не горел ни в одном пансионате, ни в одном доме отдыха. Глухой черный простор раскинулся на многие километры. Лишь видно было, как от Новороссийска шел празднично освещенный, в разноцветных гирляндах трехпалубный теплоход. Даже сюда доносилась музыка.

Беззаботность, глупый шлягер по внутрикорабельному вещанию казались теперь издевательскими, противоестественными, кощунственными. Кирюхин обнял Тому за плечи и почувствовал, что ее колотит. Он ничего не успел сказать, успокоить, их опять тряхнуло, повалило на землю. Кирюхин поднялся на четвереньки, нащупал жену и помог встать ей.

Падая и опять поднимаясь, они побежали в темную степь. Они спасались от несущегося на них поезда, от его тяжелого, беспощадного и всепокрушающего движения.

Лица обдавало то сухим степным, то мягким морским воздухом. Близился самый глухой час ночи. Звезды вверху горели светло и мирно. Но удивиться этому у них не было сил.



217 18